

Вторичный приход красных принес освобождение Кармену, но он получил свободу, для того чтобы умереть. Почти в агонии он вышел из белого застенка. Поэт умер тогда, когда наступала пора развернуть всю мощь свою для пролетарского творчества.

В истории пролетарской литературы Л.О. Кармен займет далеко не последнее место, потому что он был в рядах первых бытописателей пролетарских низов".

Но наверное, все же лучше и точнее сказал о себе сам писатель еще в 1903 г: "Я прошел через страшное горнило нужды, горя, прошел через тысячу соблазнов, соприкасался со всякой грязью, но пронес сосуд с чистой водою и не расплескал ни капли. Это чистая вода — душа, любовь ко всем падшим, униженным, оскорбленным".

Алена ЯВОРСКАЯ

Лазарь КАРМЕН

Осень в порту

"Дикарь" пригорюнился.

Канун зимы, осень. Поздняя, дождливая.

Низко-низко нависли над портом облака и туманы.

Они ползут, окутывая серым флером всю набережную, вросшие в бухты суда, баржи, маяк, брекватер, каждый тюк, каждую громаду угля, черепицы и клепок, и все рисуется в неопределенных чертах, в дымке.

С моря подул ветер.

Злой, буйный, он рыщет, забираясь в трюмы к угольщикам, полежальщикам, смольным, забираясь на "газовую", где, скорчившись, жарят у трубки свою ветошь два-три тряпичника, в пакагузы и в "обжорку".

Он рыщет, отрывая слабо привязанные к набережной шлюпки, опрокидывая тюки и ящики.

— Осень, осень! — гудит, напевает ветер.

Мрачно глядит "дикарь" на темный горизонт над рейдом, на темную зыбь моря, на падающие с неба дождевые капли. И текут по его щекам слезы.

Бедный! Он плачет по теплу, по солнцу.

Скоро зачестят дожди. Море — его кормилица — вздует.

А там недалеко — зима. Занесут снега пристань, загудят метели, и покроется море сплошной льдиной.

Порт отрежет от всего мира.

И теперь уже в порту жутко. Пункт замер.

А давно ли в жадные трюмы с утра до вечера с сотен барж посредством диковинных плавающих элеваторов — по конвейерам¹ с эстакады — из бесчисленного множества мешков, втаскиваемых наверх по "скалам" сносчиками-атлетами, сыпались неустойчивыми реками, водопадами миллионы пудов золотого зерна — ржи и пшеницы.

Вокруг слышалась английская речь, слышались меткие словца, хохот, голоса удачных сносчиков, весовщиков, баб-мерщиц, мерщиков, стивидоров, формален, визитировщиков и приказчиков.

Давно ли из целого ряда германских, французских, итальянских, английских и греческих пароходов со звоном и грохотом, потрясающим всю гавань, выгружались чудовищные тысяченудовые машины, железные котельные листы, прутья, глыбы каррара, наковальни, тяжелые водопроводные трубы?!

Жизнь была ключом.

Это был праздник рабочих сил, праздник труда. И этот праздник чувствовался всюду, на протяжении всей набережной, на всех гаванях, от пункта до "нефтяной" — на угольной, практической и арбузной.

Уголь выгружался в сотнях тысяч пудов. Подъемные краны, лебедки и кадки еле поспевали справляться со всей этой массой.

Еле попевала и черная армия угольщиков, снося всю эту массу в корзинках и на носилках на пристань.

Еле справлялись и с хлопком, прибывавшим каждый день из Александрии в тысячах кип.

А теперь!

Раз-два в неделю привезут хлопок, да заглянет "джон" за хлебом.

Вечер. Тускло мигают в разных концах электрические шары, рассыпанные по пароходным снастям огоньки и глаза бортов — иллюминаторы.

На набережной — ни души, тихо. Только бьет на море похоронным боем сигнальный колокол, слышны трещотка обходного стража да лай пса, мечущегося на цепи на угольном складе.

"Дикарь" идет на спуск.

Мимо проходят запоздавший боцман, "рвач"² и приказчик.

— Барин, дайте на хату! (на ночлег) — шепчет "дикарь", бросаясь от одного к другому.

¹ Особые трубы, проведенные с эстакады к пароходам.

² Мелкий подрядчик.

Но все точно сговорились.

— Пшел, пшел, пьяница!..

Читатель! Если в темную ненастную ночь вас остановит "дикарь", пусть он даже будет пьян, и протянет вам руку, — не гоните его прочь. И если можете, — уделите ему "на хату", дабы лежа в тепле на матраце, он мог уснуть и хоть на ночь забыть свою боль и горечь.

Смерть у "обжорки"

Старый "дикарь" умирал.

Он умирал в ясный солнечный день у стены "обжорки" в тесном соседстве с выгребной ямой и сорным ящиком.

Чуя близость смерти, он дополз до стены и лег, устремив глаза, полные слез, к небу.

Ему было невыносимо тяжело и больно.

Не было ни одного живого места во всем его жалком вытянутом и необыкновенно худом теле.

Он умирал, никому не нужный, и страшна была эта смерть у грязной стены, одинокая и печальная.

Издали из разных английских таверн — "Old main top" и "Old Cardif castle", винных погребов, трактиров и съестных лавок, доносились пьяные голоса матросов, звон посуды, звуки старых надтреснутых органов и гармоник; доносились специфическая и зловонная брань, мычание волов, скрип колес, крики возниц, непрерывная канонада выгружавшихся на набережной стали, чугуна и железа, пароходные гудки, звяканье якорных цепей, грохот вагонов, рокот ссыпавшейся с эстакады пшеницы, гул осыпавшихся гор угля, клепок и изредка заглушавший всю эту грандиозную какофонию, какофонию труда, — свист сирены у "большого" маяка, свист "соловья-разбойника".

Но вот грянула пушка, и какофония эта оборвалась. Настал обеденный час.

Широкой волной хлынули из всевозможных щелей порта, трюмов и пакгаузов на Таможенную площадь полежалыщики, сносчики, маркировщики и угольщики.

Волна эта захлестнула всю площадь, харчевни, "обжорку", и все кругом почернело от этой волны — грязных голов, лиц и лохмотьев.

У "обжорки" сделалось тесно.

Несколько человек угольщиков, успевших изрядно "клюкнуть", расположились у стены рядом с умиравшим.

Тут же расположились и два тряпичника, выбиравшие из мешков всякую пакость, кости, черепки, тряпки, и весь серый полежалщик со сползшим на подбородок кляпом — этим необходимым в пыльном пшеничном трюме намордником, с синими и сетчатыми очками на носу, весь черный от смоляной пыли — "смольный", и — поодаль — два "стрелка", азартнейшим образом резавшихся в карты в "три листика с подходцем" на штоф водки и табак.

Кто-то над самым ухом умиравшего передавал животрепещущие новости порта: как Гвоздь — известный "стрелок" — забрался в вагон и "настрелял" шесть гаек, и как таможенный стражник и надсмотрщик — "скорпион" — "наклали" ему за это в шею; как Кот-угольщик, работая "на носилках", слетел в трюм и вывихнул себе руку, и как Костяная Нога избежал этапа, спрятавшись от облавы в сорном ящике.

Умиравший зашевелил губами.

К нему подсел на корточках юркий "кадык" — вор — и стал шарить.

"Кадык" сперва порылся у него в "хламиде", а затем, когда кроме дыр ничего не обнаружил, стал рыться в жилете.

Здесь он добыл чудом завалившийся пятак и, ободрившись, продолжал рыться дальше.

"Дикарь" хотел крикнуть на него, но крик застрял в горле, и он вскинул умоляюще глаза на соседа-угольщика.

— Смотри! — говорили эти глаза. — Он грабит. Заступись, будь добр!

Но тот из боязни быть избитым "кадыком" не шевельнул даже пальцем.

С каждой минутой несчастному становилось хуже и хуже, и он закрыл глаза в томительном ожидании смерти.

А вокруг шла оргия.

Пропивались деньги, лохмотья, уцелевшие "подкандальники" — жалкие остатки сорочек и обуви.

Пропивался заработок завтрашнего и послезавтрашнего дня, пропивалась материнская ладанка.

— Ладанка, купите ладанку, материнское благословение! — выкрикивал пьяным голосом какой-то субъект, помахивая над головой медной ладанкой.

Две мегеры с провалившимися носами — тряпичницы, сцепившись из-за куска тряпья, катались в луже помоев и грызли друг дружку.

А один горячечно больной выкидывал замысловатые фокусы: глотал на потеху пьяных "дикарей" стекло, щебень и вертелся колесом, причудливо высовывая язык...

Наконец площадь понемногу стала пустеть.

Угольщики, полежальщики расплзлись по трюмам, и только остались горсть мертвецки пьяных тряпичников, пьяный мальчик — чистильщик котла "шарик", два-три сносчика и "стрелок".

Прошел час, а "дикарь" все еще умирал. Это была длинная, бесконечная длинная агония — агония в продолжение почти двух дней.

Вот подплелась к нему портовая собака, рыжая, жалкая с облезшим боком, пьяная — ее опоили "дикари", — обнюхала его, лизнула в лицо и отошла прочь. Вслед за нею подполз к нему "кадык", уже другой, и напрасно порывшись, самым бесцеремоннейшим образом стащил с него жилетку и теплушки.

"Дикарь" забылся. Но голос сбоку заставил его встрепенуться, и он жадно стал слушать.

— А завтра — слышал, Гвоздь? — у нас в порту чайную и столовую освящать будут. Будет молебствие. Говорят, будут кормить свежо и дешево.

— Врешь! — послышался в ответ другой пьяный и сиплый голос.

— Дурень! Я хоть и пьян, да говорю правду! Столовая, брат, дело хорошее. Сколько наших "дикарей" от "обжорки" гибнет. А много будет ходить в столовую.

— Будут ходить, только не старые. Старый "дикарь" не пойдет.

— Старые не будут ходить, и не надо. Молодые ходить будут. Постой! Скоро будет и баня. "Бекасы"¹ выведутся, выведется грязь и пакость, выведутся болезни.

Умиравший слушал, и на лице его засияла улыбка. Он улыбнулся словам, прозвучавшим ему лучшей музыкой.

— Скоро будет баня... "Бекасы" выведутся... Выведется грязь и пакость... Выведутся болезни...

Он улыбнулся в последний раз. Улыбка погасла на внезапно посиневшем лице. Он захрипел, и тело его вытянулось.

"Дикаря" не стало.

Жаба

— Завтра беспрерывно уйду отсюда. Ну его, порт, — к бесу! Надоел он. Тут ведь народ — непутевый, пропащий. Одно слово, дикарь — народ! — так часто говаривал своим товарищам Жаба.

¹ Паразиты.

А те слушают, бывало, попивают водочку, ухмыляются в свои грязные нечесанные бороденки и подтрунивают:

— Куда ты пойдешь, Жаба?!

— В гоххход!¹ — хрипит тот, глядя бессмысленными, осовелыми глазами на товарищей.

Жаба — несчастнейший человек в мире,

Он — тряпичник, весь день роется в сорных ящиках и выгребных ямах и всем своим существом похож на тряпку.

Жаба пьет, и пьет сильно, так как хочет заморить жабу, нажитую им давно на "полежании" и застрявшую у него в горле.

— А к чему тебе "гоххход"? — пристают хором товарищи.

— Лидку, дочь, повидать хочется. Она у меня славная. Только я — "дикарь", дьявол. Бросил ее махонькой. Осталась она с бабушкой. Та ее и вырастила. Лидке нынче — пятнадцать годов, и шьет она у модистки. Красавица — дочь. У меня вот от нее письмо. "Чего, папашенька, пишете, не проведаете меня? Забыли?! Приходите, буду рада вам". Она, умница, и рублик догадалась запечатать. "Купите, дескать, себе хлебушка, в порту, чай, безработица".

Ведь вот штука! Отец — мразь, дикарь, пьяница; всякий кадык — вор — тебя ни в грош не ставит. Ляжешь у обжорки, так он у тебя все вытащит и рыло горчицей вымажет, точно не человек ты, а идол. А поди, дочь всякое уважение имеет. "Папашенька да папашенька!" Ну и дочь же! Беспременно пойду к ней завтра. Уж мы заживем. Вырежу я эту проклятую жабу и пить брошу. Стану на заводе работать, а там дальше Лидку замуж выдам...

— Ха, ха, ха! — заливаются пьяные товарищи. Они окружают его, дергают, поворачивают его, как деревянного болвана, и нет конца их издевательствам.

— Ишь, "патрет"!

— Япанча — татарский наездник!

— Граф Монте-Кристо!

— Мазини!

— Да ты только погляди на себя. Чучело гороховое! Носа у тебя нет, гол, только и есть на тебе, что рогожа в заплатках. А прешь в "гоххход"!

Те издеваются, а Жаба — пьяный, больной и жалкий — таращит на всех свои маленькие, глубоко зарытые глаза и не перестает сипеть, поминутно хватаясь за горло. Несчастный! Жаба не дает ему покоя, душит его.

¹ В город

— А все-таки завтра непременно уйду..

Жаба шесть лет таким образом собирался, клялся, что "беспременно" уйдет "завтра". И шесть лет, чуть ли не каждый день, между ним и товарищами повторялась та же сцена.

Жаба кончал тем, что забывал клятвы, по-прежнему продолжал пить, мешая водку с махоркой и кайенским перцем и воюя с жабой, которую также не удалось ему заморить и выжить.

Раз товарищи сильно раззадорили его.

— Когда же, наконец, ты Лидку проведешь?!

— Завтра!

Это сотни раз упоминавшееся и откладывавшееся в долгий ящик "завтра", как и всегда, рассмешило товарищей. Все загикали на него, зашумели. А Ворон — старый тут же сидевший и выживший из ума "дикарь", качая головой, заметил:

— Нет, брат! Не видать тебе уж твоей Лидки. Не видать тебе счастья и города! Много вашего брата рвалось отсюда. У кого дочь, у кого брат, а у кого жена, родные... Много видал таких. Слава тебе, Господи, не первый год здесь. Сорок лет здесь живем без малого. На моих глазах тут, брат, гавань рыли, эстакаду строили, мимо носа контрабанду тащили, а где ты теперь стоишь, так тут, на этом месте, на моих глазах двух контрабандистов подстрелили. Вот как!.. Уж как рвались они! Я сам рвался. У меня самого на Подолии — дочь и сын. Рвался, да вишь! Сижу здесь, потому что порт, брат, — гидра. Лапы у него цепкие. Как схватит, как вцепится, злющий, — не выпустит. Нет, не видать тебе твоей Лидки, верно.

— А вот врешь и каркаешь ты, Ворон, даром, — сверкнул глазами Жаба. — Захочу и увижу ее. Вот крест — увижу! Дай только одежки добыть.

Жаба на этот раз уверял даром.

— Ваше благородие, будьте милостивы, дайте одежу! — слезно молил Жаба на следующий день пароходного агента.

— А тебе на что? Пропить, что ли?

— Побей меня Бог, если пропью. Мне только бы в город сходить да поглядеть Лидку. Она у меня добрая и работает у модистки. Пишет: "рада вам буду, папашенька, приходите...". Ваше благородие, не откажите, век помнить буду!

Агент был человек молодой, мягкий, у него самого была дочь-малютка, и он расчувствовался.

— А ты с нею полагаешь жить вместе?

Жаба нахмурился.

— Знаете, человек полагает, а Бог располагает. Попробую! — и Жаба сильнее нахмурился. — Тут один в порту "дикарь" есть, старый такой, Ворон; "зайчик" в голове у него бегаёт. Он и каркал: "Не видать тебе, Жаба, города и Лиды, потому что порт — гидра, и лапы у него цепкие. Схватит — не выпустит". Ну, да была не была, посмотрим!

— Он, этот Ворон, даром каркает. Надо только перестать водку пить, и все хорошо будет. Не надо поддаваться соблазну, — наставительно заметил добрый и наивный агент и сунул объемистый сверток Жабе.

— Спаситель, отец родной! — взмолился, лоя у агента руки, Жаба, и из старых очей у него посыпались на драгоценный сверток слезы...

Площадь зашумела, когда Жаба явился остриженный, чисто-начисто выбритый, в светлых элегантных брюках, в рединготе со сверкающими перламутровыми пуговицами, в белой бумажной манишке с галстуком и в высокой серой шляпе, сдвинутой, как у жуира, на затылок.

Жаба мог уйти сейчас в город, но ему хотелось показаться на площади. Дескать, вот я какой — Жаба!

Он рассчитывал на эффект, и эффект получился огромный.

Появление Жабы было сразу замечено.

— Тю, тю, тю! — затюкали на него и окружили его со всех сторон товарищи.

— Жениться, что ли, задумал? — изумились угольщики. Одни созерцали, щупали его, приценивались к его костюму, другие пожимали плечами и отпускали всяческие замечания и остроты.

Жаба важно выпятил грудь, задрал голову и заявил громко:

— Сказал — ухожу от вас, и ухожу. Баста! Хочу быть человеком, а не дикарем. Брошу пить и займусь делом. Стану на заводе работать. Лучше, чем собирать тряпки... Ну, проваливай, — и он почти вырвался из тесного кольца черных рук и лохмотьев.

Он вырвался и зашагал меж нагруженных биндюгов, которыми была наводнена вся площадь.

— Тю, тю, тю! "Вира помалу, майна банда"! — раздалось прежнее тюканье.

Позади свистали, гикали, кто-то перешвыривал через его шляпу, чуть не задевая ее, камни, по пятам за ним, как назойливые собачонки, гнались босоногие чистильщики котлов и сморчки — "кадыки", дразня его и дергая за фалды редингота, игравшие с береговым ветром.

— Кланяйся до-оч-ке Лиде! — орал ему вдогонку Громобой — "краса и гордость" порта.

Но Жаба, казалось, не слышал ни свистков, ни тюканья, не замечал назойливо юливших вокруг него "кадыков", летавших над ним камней и шел так быстро, как будто на нем был не редингот, а летательный снаряд.

На душе у него было легко, весело. Глаза сияли. Сияло и улыбалось уродливое лицо.

Жаба летел, и воображение, не омраченное с утра водкой, рисовало ему светлые картины.

Чего только не рисовало оно! И уютную чистенькую комнатку, и кипящий самовар, и замужество Лиды...

Жаба хотел раньше выбраться наверх по спуску, но раздумал и свернул на Приморскую улицу. Там, казалось ему, ближе.

— Куда?! — вдруг осадил его Клепка-корзинщик, вытаращив на него глаза.

— В гоххход! — просипел Жаба.

Тот развел руками.

— Не понимаю!

— Что же не понимать тут?! Не век торчать здесь в порту. Десять лет, как в каторге отсидел, и — баста! Будет гнить по приютам. Ухожу в гоххход. Буду жить, как все живут. Видишь, достал одежду.

— А-а-а! — протянул многозначительно Клепка и усмехнулся.

— Что ты? — спросил Жаба.

— Так, чудно! И что ты, брат, выдумал? К кому же ты в город идешь?

— К Лидке!

— Гм, к дочке! — Клепка опять усмехнулся. — А знаешь, что я тебе, брат, скажу, серьезно?!

— Что?

— Плюнь ты на эту самую Лидку.

— Как?.. — сделал Жаба большие глаза.

— А так! Плюнь и размажь. Ей-богу размажь. Только в тягость ей будешь. И куда она тебя денет, — "дикаря"-го. Завтра запьешь, станешь ругаться по-нашему — "карантинному". Вот тебе и протокол! Хозяин держать не будет. Нет, уж оставайся здесь... Ты бы лучше признал мне двугривенный. Смерть как пить хочется.

Жаба вздохнул...

— И мне... пить тоже хочется...

Наступило тягостное молчание.

Оба стояли друг пред другом, тоскливо озираясь, словно что-то высматривая и дожидаясь, что вот-вот кто-нибудь да бросит им двугривенный.

А в нескольких шагах рослый загорелый биндюжник с серьгой в ухе ударял широкой ладонью по днищу, выгоняя пробку из объемистой бутылки с водкой.

Пробка выскочила, тот крикнул, вытер рукавом губы, опрокинул голову, перекрестился и забульбулькал водкой над широко раскрытой пастью.

Жаба глядел на него с завистью.

— Где бы раздобыть двугривенный? — продолжал между тем озабоченно твердить Клепка, косясь на редингот Жабы. — А "фрак" у тебя — знатный; сукно важнецкое! — и он пощупал хвост редингота. — Чей он?

— Агента!

— То-то! Пять двугривенных за него дали б. Сукно стоит. Идем! — и он дернул за рукав Жабу.

Жаба машинально тронулся и так же машинально вошел вслед за ним к "Ханке бедной" в лавочку. Прошло пять минут, и оба приятеля вышли.

Жаба вышел без редингота, шляпы, жилета и галстука. Зато в кармане у него болтались два рубля.

— Теперь выпьем! — воскликнул Клепка.

— Выпьем!.. А как Лида?!

— Да ну ее, плюнь!..

Спустя несколько часов Жаба сидел в харчевне среди прежних товарищей и в прежних лохмотьях. Он был пьян и как всегда клялся:

— Завтра непременно пойду повидать Лидку!

Товарищи хохотали, а старый тут же сидевший и напроорочивший ему Ворон качал своей птичьей головой и, как тогда, каркал:

— Порт, брат, гидра, и лапы у него цепкие. Схватит — не выпустит.

Публикация Алены ЯВОРСКОЙ

